

**Ю. Я. Барабаш**

**«...Как беззаконная комета...», или *Одиночество Гоголя*  
(возвращение к теме)**

В 1951 году Дмитрий Иванович Чижевский опубликовал в нью-йоркском «Новом журнале» статью «Неизвестный Гоголь», в которой выдвинул тезис о «духовном одиночестве» Гоголя в русской литературе. Это была новая, без преувеличения, пионерская концепция, которая шла вразрез с устоявшимися в русской истории литературы стереотипами, и, вероятно, по этой причине её практически проигнорировал мировой гоголеведческий истеблишмент, в том числе и американский, привыкший – отчасти по причине неполноты знания предмета, отчасти удобства ради – следовать этим стереотипам, в том числе (что довольно смешно) и «революционно-демократического» толка. О гоголеведнии советском нечего и говорить – кто бы ему позволил пропагандировать вредные идейки какого-то эмигранта; впрочем, откровенно говоря, особого желания впутываться в нечто непонятное и сомнительное, когда «сверху» даны готовые, чёткие установки, не было заметно... Лишь спустя сорок с лишним лет по инициативе гоголеведов ИМЛИ статья увидела свет в России<sup>1</sup>. Уже сказанное даёт основание для *возвращения* к упомянутой работе Д. Чижевского и шире – к поставленной им теме. К тому же последняя разработана уважаемым автором статьи хотя и, как всегда, основательно, масштабно, однако всё же, решусь сказать, не исчерпывающе, некоторые существенные, как представляется, моменты лишь затронуты, что, впрочем, можно расценить не столько как

недостаток, сколько как фактор креативный, инспирирующий. Об этом – ниже.

\*

...Да было ли оно на самом деле, это одиночество?

Ведь только при беглом взгляде – сколько друзей, искренних и мнимых, было в окружении Гоголя, сколько вокруг восторженных почитателей, самозванных «единомышленников», тонких ценителей, сановных и даже высочайших покровителей, высоколобых журнальных авторитетов, льстивых издателей и шустрых редакторов с их вечным надоедливым выпрашиванием «чего-нибудь новенького», хлебосольных московских бар, за счастье почитавших завлечь знаменитого писателя к себе на «среду» или «пятницу», – сколько их было...

Но вот одно из писем к Александре Осиповне Смирновой, которой скрытый Гоголь, вряд ли с кем-либо и когда-либо бывавший до конца искренним, *приоткрывался*, кажется, чаще всего. С жалобами на болезни, на страдания душевные и телесные в письме переплетается тоскливая нота одиночества и горечь непонимания: «И ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком (XII, 490)<sup>2</sup>.

Это самое тяжкое – *одиночество среди многолюдья*...

В значительной степени оно было предопределено биографией, житейскими обстоятельствами: ранняя душевная травма – смерть отца, затем уход из отцовского дома, разлука – фактически на всю жизнь – с родным краем; непростые отношения с «маменькой», искренне любившей и столь же искренне не понимавшей сына (да и то это были отношения преимущественно на расстоянии, по переписке); вечное странничество; неустроенная холостяцкая жизнь, без своего дома, без любимой и любящей женщины, любовных радостей и семейного счастья... А чего стоило постоянное ощущение себя «хитрым малоросом» в снисходительно-благожелательной, но всё же

чужеродной, недоверчивой столичной среде, в которой далеко не всегда удавалось оставаться самим собой... А разве не тягостен этот фантазмагорический симбиоз «двух» национальных душ, в сущности – вынужденное «двоедушие», свидетельство (как он уверял себя и других) якобы внутренней гармонии, на самом же деле – синдром раздвоенности, рокового разрыва между «почвой» и «судьбой».

Психологические корни одиночества Гоголя-писателя ещё глубже, это исключительная противоречивость натуры, *ab definituo* в той или иной мере свойственная каждой гениальной личности, особенно же личности художника. Непохожесть его на «простого» человека, неординарность мыслей, суждений, поступков, поведенческих реакций – всё это шокирует *многолюдье литературное и околотитулярное*, или, как сказали бы сегодня, *тусовку*; нарушение привычных, клишированных представлений и норм ставит в тупик будничное массовое сознание, от влияния которого не отгорожено китайской стеной даже самое близкое окружение. В подобных случаях люди, по выражению одного из литераторов гоголевской поры, Александра Хиждеу, «криво истолковывают» характер и поступки незаурядного человека, «превращая непостижимость одного в чудачество»<sup>3</sup>. Это сказано о Григории Сковороде, а словно бы и о Гоголе<sup>4</sup>, и, быть может, шире – о природной особенности украинской творческой натуры, национального характера, воплощенного в художественной индивидуальности.

Гоголь знал о себе, что очень часто со стороны он кажется людям чудаком, если не юродивым, но знал и то, что другим быть не может, и хотел, чтобы это понимали другие, прежде всего друзья. «О! ты должен знать, – пишет он М.Погодину, – что тот, кто создан сколько-нибудь творить во глубине души, жить и дышать своими твореньями, тот должен быть странен во многом. Боже! другому человеку, чтобы оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые страницы.

Как это тягостно иногда!» (XI, 325). И в письме к Н.Языкову: «...Если человек созрел для уединенной жизни, то в его лице, в речи, в поступках есть что-то такое, что отдаляет его от всего ежедневно, – и невольно отступаются от него люди, занятые ежедневными толками и страстями» (XI, 351). Так отступились от него добрейший Сергей Тимофеевич Аксаков и его сын Константин, подхватившие пересуды о том, что «Гомер», дескать, сошёл с ума, а С.Шевырёв ещё и поспешил пересказать эти сплетни другу в письме. Так отступился «неистовый Виссарион» – вчерашний апологет, считавший себя Пигмалионом и не нашедший в себе мудрости и мужества, чтобы примириться с тем, что «его» Галатея хочет жить и мыслить самостоятельно... Так в своё время и украинское демократическое общественное мнение в лице М.Драгоманова (да и не только его) по инерции последовало за «неистовым», легко отдав автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» охранительно-имперскому литературному лагерю, не утруждая себя попыткой взглянуть на книгу непредвзятым взглядом, отделить в ней грешное от праведного, официозную имперскую фразеологию от искреннего проповеднического слова.

Таким образом, по своей биографии, по человеческой и художнической природе Гоголь был изначально *обречён* на непонимание и одиночество.

\*

Вернусь к статье Д.Чижевского.

Один из примеров, которыми исследователь подкрепляет свою мысль об одиночестве Гоголя в современной ему русской духовной, литературной жизни, – бросающаяся отстранённость писателя от шумных баталий между «западниками» и «славянофилами», хотя среди их участников, особенно «славянофилов», у него были добрые знакомые и симпатии. Характерна в этом отношении глава «Споры» в «Выбранных местах из переписки с друзьями», где Гоголь подчёркнуто

акцентирует свою позицию – позицию *постороннего*: «К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся» (VIII, 263)<sup>5</sup>. В отличие от, мягко говоря, наивной попытки Белинского объяснить дистанцированность Гоголя исключительно его многолетним пребыванием в зарубежном «прекрасном далеке» (словно не жили годами за пределами России, скажем, Герцен и Тургенев!), Д. Чижевский не склонен придавать значение ни географическому фактору, ни даже «иному культурному пространству»; суть вопроса он видит в том, что Гоголь «не только человек иного культурного пространства, но и человек иного времени, иной культурной эпохи»<sup>6</sup>.

Последняя формулировка, правда, нуждается в уточнении. Дело в том, что, говоря об «иной эпохе», Чижевский имеет в виду эпоху «александровскую» с характерной для неё зыбкостью взглядов и настроений, резкими колебаниями от либеральных порывов и мистического энтузиазма к разочарованию, консерватизму, идеализации «феоκραтического» правления как гаранта царства Божиего на земле. Думается, однако, что если мы и узнаём в позднем Гоголе какие-то из этих черт, вряд ли есть основания связывать их лишь со временем царствования Александра I, которое, кстати, сам писатель в «Выбранных местах...» оценивает без особой симпатии, с оттенком иронии – «век <...> опрятный, благопристойный, вылощенный» (VIII, 375), то есть, не слишком приязненно. Это – во-первых. Во-вторых, удивляет недооценка Чижевским «иного культурного пространства» как фактора гоголевского одиночества; его ссылку на Богдановича и Капниста, тем более на Булгарина и Сенковского, также пришедших из «иного культурного пространства», но легко адаптировавшихся в русской литературе, – эту ссылку (да и само сопоставление!) трудно признать научно корректной.

Мне кажется более точной и убедительной, а главное – более существенной для темы гоголевского одиночества позиция

Д.Чижевского, высказанная им ранее в статье «О “Шинели” Гоголя», где Гоголь рассматривается в совершенно ином историко-культурном и литературном контексте. Чижевский пишет: «Одна из центральных мыслей художественных произведений Гоголя (и не только художественных, можно было бы здесь добавлять. – Ю.Б.) – у каждого человека свой “запал”, своя страсть, своя увлечённость. Тема старая, тема Горция, тема европейского и украинского барокко, тема одного из “виршей” украинского мистика Григория Сковороды...»<sup>7</sup>.

Наконец слово найдено: *барокко*. Теперь понятия «иногo культурного пространства» и «иной культурной эпохи», к которым принадлежал Гоголь, обретают подлинный смысл. Это «пространство» и «эпоха» украинского барокко XVII–XVIII вв., генетическое и типологическое сродство с которым Гоголя и было действительной причиной его литературной «отсталости», обособленности в ментально иной эстетической среде. Ведь для русской литературы того времени барокко было явлением не только анахроничным, но и неорганичным. К сожалению, в работе «Неизвестный Гоголь» Чижевский этого вопроса касается мимоходом, да и то в связи не с главной темой – литературным одиночеством Гоголя, а с проблемой стиля, его средневековой «тяжелоукрашенности», барочной «переобременённости... украшениями...»<sup>8</sup>.

\*

Между тем дело не просто в стиле, дело прежде всего в мироощущении, мировосприятии.

Украинская барочная старина во всех аспектах этого понятия – историческом, этнографическом и, конечно, литературном – с детства воспринималась Гоголем в нераздельном единстве с атмосферой и людьми, в которой и среди которых проходила его жизнь в отцовском доме, с живой генеалогической традицией, семейным преданием. Гоголи-Яновские принадлежали к той части украинской шляхты,

которая, по выражению В.Перетца, «мирно пребывала в покое почти до середины XIX века в объётах старой семинарской образованности»<sup>9</sup>. В полтавской семинарии учился отец, Василий Афанасьевич, в чьей литературной и сценической деятельности, стиле художественного мышления, в языке влияние модной карамзинской сентиментальности причудливо переплеталось с мотивами и приёмами старой украинской комедии. Главным центром образованности в духе литературного барокко ещё совсем недавно была Киевская академия, в ней воспитывались и близкий к семье кибинецкий «казак-вельможа» Дмитрий Трощинский, и дед писателя, Афанасией Демьянович, хранителем же её традиций, живым носителем духа той самой «иной культурной эпохи» в семье оставалась бабушка Татьяна Семёновна – Лизогубовна; по материнской линии она принадлежала к роду Танских, а один из Танских в своё время был широко известен как «славный» автор интермедий и интерлюдий «во вкусе Плавтовом»<sup>10</sup>.

При этом важен вот какой момент.

Говоря о так называемой школьной, преимущественно киевской, барочной традиции, влияние которой испытал Гоголь, нельзя ограничиваться – как это происходит если не обычно, то чаще всего, – корпусом так называемого низового барокко (интермедия, вертеп, травестия, бурлеск и т.п.). Понятие «школьная литература» включает в себя намного более широкий спектр жанров и форм: трагедокомедию и апокрифическую повесть, сценические действия на библейские и античные сюжеты, панегирики и послания, трактаты по поэтике и гомилетике, летописи, хроники, так называемые диариуши (дневниковые записи), сочинения по философии, космо- и демонологии, теологии и морали, жития святых и – особо подчеркну – проповеди.

К этому ответвлению староукраинской литературной традиции – «высокому» барокко – Гоголь пришёл в последний период своей жизни, когда работал над вторым томом «Мёртвых душ», «Выбранными

местами из переписки с друзьями», «Размышлениями над божественной литургией». В отличие от Украины, где данная проблематика входит в гоголеведческий корпус постоянной составляющей (выделяются, в частности, работы П.Михеда), в России и на Западе об этом написано мало, а если написано то как-то неохотно, мимоходом. Редкое исключение составляет Абрам Терц (А.Синявский), прямо назвавший «преобладающим» стилем у Гоголя именно барокко, а не «несравненно более жесткую и менее внятную схему “реализма” или “романтизма”». Но – показательно – исследователь при этом имеет в виду барокко отнюдь не украинское, а некое «густорусское»<sup>11</sup>. В последние годы в России развернулось серьёзное изучение «духовной прозы» Гоголя И.Виноградовым, В.Воропаевым, И.Есауловым, но это изучение носит, на мой взгляд, однобокий характер, голеведение «православно»-имперской направленности мало интересуется высоким украинским барокко. В последнем (если о нём вообще упоминают) внимание, как правило, уделяется образам и мотивам, сближающим Гоголя, прежде всего раннего периода, с пластом барокко «низового»– смеховой культурой, «бакалярским» бурлеском, вертепом и т.п. Гоголь в этих случаях предстаёт исключительно как смехотворец, автор комедийных сюжетов, бытовых «малороссийских» анекдотов и «жартов», но не как мыслитель, проповедник-моралист, духовный писатель. Из формулы гоголевского «горького смеха», весь смысл которой заключается в неразрывном единстве её составляющих, искусственно выделяется лишь одна из них – смех, другая – горечь – почти не привлекает внимания.

Эта тенденция освящена, к сожалению, авторитетным именем М.Бахтина. Учёный выводил творчество Гоголя из Рабле, замыкая его целиком в рамках карнавально-ярмарочной традиции, к которой Бахтин относит даже «гиперболы кровавых побоищ» в «Тарасе Бульбе», даже «весёлое», по его определению, путешествие Чичикова по «весёлой преисподней»<sup>12</sup>. Тут сказалась давняя инерция русской литературной



мысли: она доброжелательно принимала «байки» Рудого Панька, не замечая в них ничего, кроме «малороссийской» экзотики, а уж понять и постичь в гоголевском наследии то, что шло, скажем, от гомилетики Иоанникия Галятовского, его проповеднического наследия, от агиографического эпоса Дмитрия Ростовского (Туптало), что типологически связано было с морально-философским учением Григория Сковороды, она то ли не хотела, то ли не смогла<sup>13</sup>.

\*

Сформировавшись как писатель на почве староукраинской духовной, литературной традиции, Гоголь вобрал в своё творчество родовые барочные признаки. Это, разумеется, ни в малейшей степени не исключало иных влияний и сближений, в частности, с европейским и русским романтизмом (тема с достаточной степенью полноты освещена в литературе, что даёт основания оставить её в данном случае за рамками разговора). Однако генетически-доминантными я считаю признаки *барочные*. С одной стороны, это патетическое, с трагическим компонентом, восприятие исторического и современного бытия, тяготение к иррациональному, мистическому, метафизическому в мире и в человеке, теоцентрически-космическое ощущение «себя-в-мире». А с другой – жадное внимание к простым, натуралистическим проявлениям жизни, к её трепетной «плоти», к «низким», часто далеко не эстетичным её формам, за которыми, однако, пристальному и вдумчивому взгляду открывается высокое, идеальное.

Отсюда типологическая близость гоголевских сочинений к украинской барочной проповеди, поучительно-морализаторскому слову, высокому религиозному пафосу и в то же время – к бытовому случаю, анекдоту, «байке», к старой интермедийной и травестийной традиции. В сфере поэтики это проявляется в типичной для барокко дисгармоничности, сближении контрастов, в резких стилистических сдвигах и перепадах, причудливой игре форм, элементах «чужого

слова», склонности к усложнённой, подчас зашифрованной метафорике, к парадоксу, гиперболе, оксюморону, к литературной мистификации. Эти черты и особенности в комплексе составляют тот – не известный до- и внегоголевской русской литературы и ментально ей чуждый – феномен, который я определяю как *гоголевское барокко*. Его характернейшая черта – концептивный принцип сочетания несочетаемого, по выражению польского теоретика барокко XVII в. М.К.Сарбиевского, – «согласованная несогласованность, или несогласованная согласованность»<sup>14</sup>. И что важно: такой концептизм носит проникающий, «сквозной» для *всего* творчества Гоголя характер. Смешанная со страхом и мрачными предчувствиями искрящаяся весёлость «Сорочинской ярмарки» и суровая поучительность «Выбранных мест из переписки с друзьями», демонология «Страшной мести» и «Вия» и парад «кривых рож» в «Ревизоре», трогательный комизм старосветского быта и метафизика смерти («Старосветские помещики»); синтез гротеска («Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Нос») с мертвящей вселенской Скукой («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), героики с кровополитием и детоубийством («Тарас Бульба»), смеха с бредом и экзистенциальным ужасом («Записки сумасшедшего»), сатиры с патетикой («Мёртвые души») – всё это компоненты единой, целостной художественной системы. Неповторимой системы *гоголевского барокко*.

\*

С этой точки зрения мы вынуждены будем признать (разумеется, предварительно встряхнувшись от гипноза хрестоматийно-школярских стереотипов), что в русском литературном пространстве гоголевское барокко выглядит достаточно чужеродным телом, «беззаконной кометой в кругу расчисленном светил», устоявшихся реалистических иерархий и ценностей. Оно не вписывается в стройную цепочку «мирной преемственности», над которой иронизировал Ю.Тынянов:

«...Ломоносов роди Державина, Державин роди Жуковского, Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди Лермонтова»<sup>15</sup>. А кто, спросим себя и друг друга, «роди» Гоголя в русской литературе и кого «роди» он? Здесь не обойтись без самого Николая Васильевича: дай ответ – не дают ответа...

А ведь современной ему русской критикой, литературным общественным мнением Гоголь с первых же своих шагов был принят почти безоговорочно и даже восторженно. *Принят*, что, однако, не означает *понят*. Даже Пушкин, при всей его поразительной чуткости и отзывчивости, в «случае Гоголя» не смог выйти за пределы тогдашнего русского обыденного литературного сознания; в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» он заметил и похвалил лишь «описание племени поющего и пляшущего», простодушную «веселость», о «Гарасе Бульбе» не нашел сказать ничего, кроме того, что начало повести «достойно Вальтер Скотта»<sup>16</sup>. Не более того...

Но быть может подобная невосприимчивость относится только к «украинской» части гоголевского творчества? Быть может, в петербургских повестях, «Ревизоре», «Мёртвых душах» современниками были поняты всечеловечески-экзистенциальный смысл и подтекст, а не только узнаны реальные приметы российской действительности, точно уловленные и изображенные сатирическим пером гениального бытописателя и «обличителя»?

Увы, нет.

Парадокс в том, что, заняв в русской литературе общепризнанное ведущее место, будучи возвеличен как зачинатель в ней некоего (на мой взгляд, мифического) «гоголевского направления», лидер «натуральной школы», Гоголь на самом деле остался вне русского литературного мейнстрима, в литературном одиночестве, рискну сказать – в атмосфере отсутствия *подлинного* понимания.

О восприятии «Мёртвых душ» Пушкиным (вновь потревожу великую тень, но что делать, бóльшего авторитета у нас нет) – о том, как отозвался Пушкин о «Мёртвых душах», известно, что, ознакомившись с первыми главами поэмы, он лишь тоскливо вздохнул: «Боже, как грустна наша Россия!». И это – всё, всё о сочинении, по масштабности замысла и широте общечеловеческого горизонта стоящем в одном ряду с «Божественной комедией» и «Фаустом».

А «Шинель»? Мне кажется, литературным сознанием России она была истолкована одномерно, преимущественно в профанном, приземленно-социологическом плане, в духе «физиологического» петербургского очеркизма. Далеко не сразу были распознаны метафизический смысл и подтекст повести, её мифологическое измерение: хотя бы мифологемы «одного департамента» и «значительного лица», да, собственно, и самого Петербурга; или древнейший мотив брата (помните: «я брат твой»?) и скрытый в нём архетип Каинова греха. Став, прежде всего именно благодаря этим философско-нравственным универсалиям, фактом *мировой* литературы и её креативным фактором, «Шинель» в литературе *русской*, в сущности, надолго осталась явлением одиноким. Якобы принадлежащее Достоевскому замечание, что все русские писатели 40-60 гг. XIX в. «вышли из “Шинели”», либо не вполне точно передано Мельхиором де Вогюэ, либо неверно нами понято и истолковано, либо вообще весьма спорно. Ибо подлинных наследников у этого «трансцендентального анекдота», как назвал «Шинель» В. Набоков, в русской литературе не было, пожалуй, вплоть до Ф.Сологуба и Андрея Белого.

Позвольте, а сам Достоевский? – могут меня спросить. Отвечу так: Достоевский был и остался Достоевским, он не нуждается в сравнении. И, конечно же, он не был Гоголем. После «Униженных и оскорблённых», в которых при очень большом желании и с немалой натяжкой ещё можно уловить импульсы «Шинели», он в своём

духовном и творческом поиске шёл хотя и в том же направлении, к той же цели, что и Гоголь, но шёл своим, не гоголевским путем.

Гоголевской раздвоенности он не знал, внутренние противоречия, духовная эволюция у Достоевского были иными по своей природе и проявлениям. Иными были мироощущение, религиозное сознание, поэтика. Оба – художники универсального масштаба, корни и природа их универсализма были разными. У Гоголя универсализм включал в себя органическую украинскую составляющую, вырос на почве его национальной раздвоенности (одновременно как *благодаря*, так и *вопреки* ей). Универсализм, всечеловечность Достоевского подпитывались русской национальной почвой, русской идеей, как он её понимал. Этой идеей пытался вдохновиться и Гоголь, но, признаём, не слишком успешно...<sup>17</sup>.

Впрочем, это уже предмет другого разговора.

---

<sup>1</sup> *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь. / Новый журнал. – Нью-Йорк, 1951. – XXVII; Гоголь: материалы и исследования. – М., 1995.

<sup>2</sup> *Гоголь Н.* Полн. собр. соч.: В 14 т. – Т. XII. – [М.–Л.], 1937–1952. – С. 490. Далее ссылки на это издание даются в тексте (в скобках: римская цифра – номер тома, арабская – страницы).

<sup>3</sup> *Хиждеу А.* Три песни Сковороды. / Телескоп. – 1831. – Ч. VI. – № 24. – С. 578.

---

<sup>4</sup> Тема «Гоголь и Сковорода» заслуживала бы специального разговора, но, естественно, не здесь и не сейчас; некоторые её аспекты мною уже рассматривались (см.: *Барабаш Ю.* «Знаю человека...». Григорий Сковорода: поэзия, философия, жизнь. – М., 1989; его же: Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков. – М., 1995; его же: Дух животворить... Читаемо Сковороду. // *Барабаш Ю.* Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко. – Київ, 2007).

<sup>5</sup> Стоит обратить внимание на такую сторону вопроса. Органически не воспринимая современную европейскую цивилизацию, насквазь проникнутую, по его мнению, духом бюргерства, Гоголь в то же время не менее резко отзывался о «квасном патриотизме» славянофилов. Глубоко чужда была ему шовинистическая заносчивость тех, что «хвастают сверх меры русскими доблестями и думают совсем не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: “Смотрите, немцы, мы лучше вас!”» (VIII, 298). Гоголь язвительно иронизирует по поводу «глупостей» К.Аксакова (борода, мужицкий армяк и т.п.), но особое отвращение вызывала у него аксаковская привычка на каждом шагу, как пятое колесо к телеге, «приплетать... Москву», забывая, что любую мысль, если повторять её двадцать раз, «можно сделать пошлой» (XII, 125).

<sup>6</sup> *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь. // Гоголь: материалы и исследования. – С. 208.

---

<sup>7</sup> *Чижевский Д.* «О “Шинели” Гоголя». / Современные записки. – Париж, 1938. – LXVII. – С. 189–190.

<sup>8</sup> *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь. – С. 222.

<sup>9</sup> *Перетц В.* Гоголь и малорусская литературная традиция. – СПб, 1902. – С. 4.

<sup>10</sup> Воспоминания АФ.Лобысевича о времени обучения своего в Киевской Академии в 1747–1752 годах. (Письмо его к архиепископу Георгию Конисскому 30 сентября 1794 г.). // Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отд. II (1721–1795 гг.). – Т. I (1721–1750). – Ч. I. – Киев, 1904. – С. 387–388.

<sup>11</sup> *Абрам Терц.* В тени Гоголя. – Лондон, 1975. – С. 347, 348, 350.

<sup>12</sup> *Бахтин М.* Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М., 1975. – С. 487, 488.

<sup>13</sup> Ещё одно отступление. Чего *не* воспринял Гоголь от барокко, в частности от Сковороды, так это присущих последнему духовно-религиозной раскованности, свободного, по выражению Д.Чижевского, «в известной мере легкомысленного отношения к

---

христианской традиции» (Чижевський Д. Історія української літератури. Кн. 2. – Прага, 1942. – С. 132), точнее – к её узкодогматической, сугубо обрядовой, «церемониальной», как называл её Сковорода, стороны. Авторитетный исследователь западноевропейской литературы Н.Балашов определял эту черту барокко как «гуманистический антидогматизм», «народный индеферентизм» по отношению к церкви и её канонам (см.: Балашов Н. На пути к не открытому до конца Кальдерону. // Педро Кальдерон де ла Барка. Драммы. Кн. I. – М., 1989). На отличие гоголевского религиозного мироощущения от сквординского обратил в своё время внимание В.Эрн, сопоставляя под этим углом зрения обоих авторов: «Гоголь, когда страдающий дух его постиг свою природную мертвенность, охваченный ужасом, бросился к *Церкви*»; Сковорода же «не идёт к священнику, чтобы облегчить свою душу исповедью и покаянием, он не подчиняет жизнь свою правилам духовной (здесь читай: церковной. – Ю.Б.) гигиены...» (Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. – М., 1912. – С. 89). Для Сковороды как типичного человека барокко духовной гигиеной была *зрячая вера*, а не *слепая верность*, потому так свободно и естественно синтезировались в его мироощущении мудрость ветхозаветная и новозаветная и обе – с античной, даже языческой. Трудно представить себе его автором такого сочинения, как гоголевские «Размышления о божественной литургии»; Гоголь же, в свою очередь, наверняка никогда не решился бы на сравнение Христа с Эпикуром, подобное сквординскому ... Тут – грань. За нею барочные черты в гоголевском облике теряют чёткие очертания, отступают перед идеей Бога, предстающей в застывших формах византийской ортодоксии.



<sup>14</sup> *Sarbiewski M.K.* Wykłady poetyki (Praczepta poetica). –Wrocław; Kraków, 1958. – S. 5.

<sup>15</sup> *Тынянов Ю.* Поэтика. История литературы. Кино. – М.,1977. – С. 258.

<sup>16</sup> *Пушкин А.* Полное. собр. соч.: в 10 т. – Т. 7. – М., 1958. – С. 345.

<sup>17</sup> Считаю необходимым заметить: мысли, высказанные в последних абзацах мне уже доводилось обнародовать, правда, по иному поводу и в ином контексте (см.: *Барабаш Ю.* О диалектике национального и общечеловеческого [Гоголь]. – Международные Ломидзевские чтения. Изучение литератур и фольклора народов России и СНГ: Теория. История. Проблемы современного развития. [Материалы Международной научной конференции 28–30 ноября 2005 г., г.Москва. – М., 2008]); я позволил себе повториться в интересах логики и полноты рассмотрения темы настоящей публикации и в надежде на снисходительность читателя.